

Серия «Академия Валорис»



Крылья из Пепла

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

МИЯ ВЕЙН

18+

Мия Вейн

Крылья из Пепла

<https://litres.ru/74647119>

SelfPub; 2026

Аннотация

Продолжение романа «Резонанс Тьмы и Света».

Он решил за двоих. Закрыв за ней дверь между мирами и сказал, что так будет лучше.

Год спустя Айрин Вейн возвращается в Академию Валорис. Сама. По своей воле. И совсем не к нему.

Она больше не та растерянная девочка, которая когда-то впервые переступила порог академии. За этот год Петербург научил ее драться, действовать и не ждать. На ее лопатках — крылья. Под ее щитом — ни одной мысли для него.

Деймон Блэквуд знает, что виноват. Знает, что потерял право решать за нее. Но отступить не собирается.

Только у него теперь тоже есть тайна. А из темноты по ночам ему шепчет тот, кто ждал этого слишком долго.

Иногда, чтобы взлететь, сначала нужно сгореть дотла.

Вторая книга цикла «Академия Валорис».

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	14
Глава 3	29
Глава 4	42
Глава 4	54
Глава 6	66
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Мия Вейн

Крылья из Пепла

Глава 1

Дверь открылась раньше, чем я успела позвонить.

Бабушка стояла на пороге в своем старом вязаном жакете, с очками на лбу, будто только что оторвалась от книги. В руке — кухонное полотенце. За ее спиной в прихожей горел желтый свет, и пахло так, как может пахнуть только дома: пирогом, геранью и чуть-чуть — валерьянкой.

Она посмотрела на меня. На мокрые волосы. На черный кадетский мундир с серебряной окантовкой, на котором до сих пор темнели пятна копоти с Цитадели. На рюкзак у меня на плече — тот самый, с которым я в сентябре уходила к сфинксам. На мое лицо.

И ничего не спросила.

Просто шагнула вперед и обняла. Крепко, всем своим маленьким сухим телом, так, что полотенце оказалось у меня на спине. От нее пахло ванилью.

— Пришла, — сказала она мне в плечо. — Ну вот и хорошо. Вот и пришла.

Я хотела ответить. Хотела сказать «привет, ба» или «прости, что не писала» — как будто из Этерии можно было на-

писать. Но горло не слушалось. Я только кивнула и уткнулась ей в макушку, и мы стояли так в дверях, пока соседка с третьего этажа не прошла мимо с пакетом и не покосилась на мой мундир.

— Маскарад у них в университете, — громко сообщила ей бабушка. — Исторический. Заходи, Айрин, сквозняк.

Уголек меня не узнал.

Точнее, узнал — но не сразу. В сентябре я принесла домой за пазухой мокрый пищащий комок размером с ладонь. Теперь из-под кухонного стола на меня смотрел большой черный кот с длинными лапами, белым пятном на груди и желтыми глазами. Он подошел, понюхал мои сапоги. Потом брюки. Потом поднялся на задние лапы, уперся передними мне в колени и долго, очень внимательно нюхал воздух у моей груди. Там, где под мундиром висели два кулона.

Я ждала, что он зашипит. Тогда, в сентябре, он шипел на всё, что пахло чем-то незнакомым.

Он не зашипел. Ткнулся лбом в кулон сквозь ткань, заурчал — громко, на всю кухню, — и запрыгнул ко мне на колени.

— Смотри-ка, — сказала бабушка, ставя передо мной чашку. — Признал.

Чай был слишком сладким. Она всегда клала три ложки, когда кто-то болел. Я пила его маленькими глотками и смотрела на герань на подоконнике — разрослась, выпустила но-

вые красные шапки. Всё здесь было таким же, как полгода назад. Клеенка в мелкий цветочек. Часы с кукушкой, которая давно не кукует. Мои детские рисунки на холодильнике, пожелтевшие по краям.

Всё было таким же. А я — нет.

Бабушка села напротив. Сложила на столе руки — я помнила эти руки, теплые, в мелких морщинках, с серебряным кольцом на безымянном пальце. Посмотрела на меня поверх очков.

— Есть будешь?

— Нет.

— Будешь. — Она отрезала кусок пирога и подвинула тарелку. — Потом расскажешь. Когда захочешь. А сейчас — ешь.

Я съела. Весь кусок. И второй, который она подложила, не спрашивая. Оказалось, что я не ела со вчерашнего вечера — с того ужина в Большом зале, где Магнус читал имена погибших, а Деймон сидел у стены и не поднимал глаз.

Я поставила чашку. Руки дрожали, и чай плеснул на клеенку.

Бабушка молча вытерла лужицу полотенцем.

Моя комната встретила меня запахом пыли и масляных красок. Я опустила рюкзак на пол у двери и не стала его открывать. Там лежало всё, что я в то утро по привычке взяла на занятия: конспекты, перо, альбом. Утро, когда я еще ду-

мала, что вечером вернусь в свою комнату в Валорисе.

Бабушка ничего здесь не трогала. Кровать застелена тем же клетчатым пледом. На полке — книги, альбомы, банки с кистями. На подоконнике засохший кактус, который я каждый раз забывала поливать. А у окна, на мольберте, стоял холст.

Тот самый.

Угольный рисунок, который я сделала в ночь после сфинксов, — двадцать второго сентября, за день до своего восемнадцатилетия. Силуэт в длинном плаще. Капюшон. Тень вместо лица. И два пятна желтой пастели там, где должны быть глаза.

Тогда я не знала, кто это. Называла его про себя «мой демон». Думала, что мне померещилось.

Теперь я знала, как пахнет его кожа. Как звучит его голос, когда он смеется. Как он поворачивает голову во сне. Какие у него теплые ладони и как он говорит «Пташка», когда думает, что я не слышу.

Я подошла к мольберту и долго смотрела на рисунок.

Потом развернула его лицом к стене.

Ночью я не спала.

Лежала на спине, смотрела в потолок, где от уличного фонаря дрожала тень голых веток. Уголек устроился у меня в ногах и сопел. За стеной у бабушки тихо бормотало радио.

Я сжала в кулаке оба кулона. Слеза Этерии была прохлад-

ной — спокойной, почти сонной, как будто здесь, в мире без магии, ей нечего было делать. А второй, кулон Деймона, оставался теплым. Всё таким же теплым, как в ту минуту, когда Деймон застегнул его у меня на шее.

«Деймон».

Я позвала его так, как звала в Валорисе. Через нить — ту самую, серебристо-черную, которую мы натягивали месяц на вершине Цитадели, пока она не стала крепкой, как стальной трос.

Ничего.

Не стена — у стены есть хотя бы поверхность, в нее можно упереться. Не тишина — в тишине всегда что-то слышно. Пустота. Будто нить оборвали у самого основания, и я тянулась рукой туда, где раньше было что-то живое, а теперь пальцы проваливались в холодный воздух.

«Деймон, пожалуйста».

Пустота.

Я повернулась на бок и уткнулась лицом в подушку. Что-бы бабушка не слышала. Уголек поднялся, прошел по одеялу и улегся у меня на спине, тяжелый и теплый. Мурлыкал, пока я не перестала дрожать.

На третью ночь я пошла к сфинксам.

Он открыл мне портал ровно в три. Тогда, в сентябре. Я помнила его голос из темноты — «Не передумала, Пташка?» — и руку в кожаной перчатке, протянутую ко мне. Если Из-

лом где-то и откликнется, то здесь. И в это время.

Я вышла из дома в половине третьего, в джинсах и старой куртке, с обоими кулонами на шее. Бабушка спала — по крайней мере, мне так казалось. Набережная была пустой. Над Невой висела тяжелая мартовская морось, фонари расплывались в ней мутными желтыми пятнами. Где-то на мосту проехала одинокая машина, и снова стало тихо.

Сфинксы лежали на своих гранитных постаментах, как всегда. Невозмутимые, древние, с отбитыми краями лап. Тот, что слева, смотрел на меня каменными глазами без зрачков.

Я встала между ними. Ровно на то место, где стоял он.

Сняла Слезу Этерии, сжала в ладони. Закрыла глаза.

— Открой, — прошептала я. — Пожалуйста. Открой.

Кулон в руке едва заметно потеплел. Я почувствовала его — тонкий отклик, как тихий звон стекла. Я потянулась к нему всей силой, которая проснулась во мне после Рубежа, тем серебряным светом, который зажег светоч Крофта и заставил Сильвара опустить крыло. Позвала. Надавила.

Воздух между сфинксами дрогнул. На долю секунды мне показалось — показалось! — что по нему пробежала тонкая золотая рябь. Как тогда.

А потом что-то толкнуло меня в грудь. Мягко, но непреклонно. Как ладонь. Как будто на той стороне стояла дверь, и я уперлась в нее плечом, а дверь была заперта — и не просто заперта. Запечатана.

Рябь погасла. Слеза в моей руке остыла.

Я открыла глаза. Сфинксы смотрели мимо меня. Нева шуршала о гранит. Никакого портала. Никакого золотого света. Никакого голоса из темноты.

Я простояла там до рассвета.

Я приходила туда каждую ночь. Неделю. Потом вторую.

Иногда пыталась открыть Излом Слезой. Иногда — просто стояла, смотрела на воду и ждала, сама не знаю чего. Что он выйдет из тумана, как тогда. Что я услышу его голос. Что всё это окажется ошибкой, страшным сном, и он скажет: «Пойдем домой, Пташка», — и протянет руку.

Он не выходил.

Однажды ко мне подошел полицейский — молодой, сонный, в мокрой куртке — и спросил, всё ли со мной в порядке. Я сказала, что жду друга. Он посмотрел на меня долгим взглядом, потом на пустую набережную, и ушел, ничего не сказав. Наверное, решил, что я сумасшедшая.

Может, так оно и было.

На пятнадцатую ночь, когда я пришла домой в начале шестого, мокрая и окоченевшая, на кухне горел свет.

Бабушка сидела за столом в халате. Перед ней стояли две чашки, и над чайником поднимался пар. Она не спала. Судя по всему, не спала вообще.

— Садись, — сказала она.

Я села.

Она налила мне чаю. Три ложки сахара. Подвинула чашку. А потом спросила — тихо, без упрека:

— К сфинксам ходишь?

Я кивнула. Врать не было сил.

— И как?

— Никак. — Голос сорвался. — Ба, он закрыт. Я чувствую его — Излом, он там, он живой, — но он закрыт. Я не могу...

Бабушка помолчала. Обхватила свою чашку ладонями.

— Я в молодости тоже туда ходила, — сказала она неожиданно. — Когда твой дед отправился в Этерию и не вернулся. Только у меня не было ключа. — Она кивнула на кулон у меня на шее. — У тебя есть. И всё равно не открывается?

— Нет.

— Значит, закрыто с той стороны. — Бабушка смотрела в окно, где над крышами начинало сереть небо. — И закрыто крепко. Такую печать не каждый маг поставит.

Я замерла с чашкой в руках.

— Ба... ты понимаешь в печатях?

— Я наполовину человек, Айрин. Но только наполовину. — Она слабо улыбнулась. — Кое-что понимаю. Отец мой научил, пока был жив. — Она помолчала. — Странная это печать. Обычно двери запирают, чтобы кто-то не вошел. А эта... Когда ты возвращаешься под утро, от тебя ею пахнет. И мне всё кажется, что ее ставили не против того, кто снаружи. А против того, кто внутри.

— Что это значит?

— Не знаю, солнышко. — Бабушка накрыла мою руку своей. — Может, ничего. А может, кто-то очень не хотел выйти. Сам.

Я смотрела на нее и не понимала. Мысли были вязкими, тяжелыми, как мокрый снег. Кто-то не хотел выйти? Магнус? Совет? Зачем запирает дверь изнутри, если...

Нет. Это было глупо. Он сам меня вытолкнул. Он сам сказал: «Забудь меня». Ему незачем было запирает дверь от себя.

— Иди спать, — сказала бабушка. — И Слезу оставь дома. Нечего ей по ночным набережным таскаться. Она тебе еще пригодится.

В ту ночь — точнее, в то утро — я впервые сняла Слезу Этерии.

Положила ее в старую шкатулку, ту самую, в которой она пролежала восемнадцать лет, пока печать на мне не спала. Закрыла крышку. Сунула шкатулку в ящик стола, под стопку старых альбомов.

Потом взялась за второй кулон.

Маленькая капля янтаря в серебряной оправе с четырьмя коготками. Подарок. «Камень с моих земель. На удачу. И чтобы ты не забывала, что есть место, где тебя ждут».

Место, где меня ждут. Которое он сам для меня закрыл.

Я нащупала замочек цепочки. Пальцы были холодными и не слушались. Я дернула — замочек не поддался. Дернула

еще раз.

И остановилась.

Кулон лежал у меня на ладони. Теплый. Всё такой же теплый, хотя прошло две недели, хотя его некому было держать в руках, хотя янтарь не может греться сам по себе. Мне вдруг показалось — глупость, конечно, — что под моими пальцами в нем что-то бьется. Тихо. Ровно. Как второе сердце.

«Янтарь всегда теплый», — сказал он тогда. Слишком быстро.

Я не знаю, почему не сняла его. Может, не хватило сил. Может, не хватило злости — ее еще не было, она пришла позже. А тогда была только пустота, и этот маленький теплый камень оказался единственным, что в ней еще жило.

Я сжала его в кулаке, легла поверх одеяла, не раздеваясь, и закрыла глаза.

Уголек забрался ко мне под руку и заурчал прямо в кулак, в котором был кулон.

За окном начинался день. Над Невой кричали чайки. Где-то в соседнем дворе заводилась машина.

Мир людей просыпался — серый, мокрый, без магии.

Мой мир. Тот, в котором меня больше никто не звал Пташкой.

Глава 2

Телефон пролежал в ящике стола полгода, и сначала даже не хотел включаться.

Я нашла его в конце третьей недели, когда искала зарядку для бабушкиного фонарика. Он лежал под альбомами, рядом со шкатулкой, в которой теперь спала Слеза Этерии. Черный, холодный, с трещиной в углу экрана, о которой я совсем забыла. Я поставила его заряжаться и ушла на кухню. Когда вернулась, он мигал и гудел, не переставая, и не мог остановиться минуты три.

Двести четырнадцать сообщений. Почти все — от Марго.

Я села на пол у розетки, потому что шнур был короткий, и стала читать с самого начала.

Сентябрь: «Вейн, ты где? Тёма говорит, ты не пришла на просмотр». «Айрин, ответь, я волнуюсь». «Твоя бабушка сказала, что ты уехала к родственникам. К КАКИМ родственникам? У тебя нет родственников».

Октябрь: фотографии из мастерской, натюрморт с черепом и тыквой, Тёма в смешной шапке. «Без тебя тут скучно, даже Ковалевский не орет, не на кого».

Ноябрь: «Тёма узнал в деканате, что ты взяла академ. Почему ты мне не сказала?» Потом длинная пауза. Потом декабрь, одна строчка: «С днем рождения меня, кстати».

Я забыла. Я была на балу в изумрудном платье, а у Марго

был день рождения, и я забыла.

Январь: «Я уезжаю к папе в Милан. Поступила в Брера, представляешь? Напиши, если ты жива». И последнее, в феврале, — фотография канала с лодками, мутная, снятая на ходу. Под ней: «Если ты когда-нибудь это прочитаешь — я не злюсь. Почти».

Я долго смотрела на это «почти».

Потом набрала: «Прости меня». Стерла. Набрала: «Я была очень далеко, там не было связи». Это даже была правда, но я стерла и ее. В конце концов написала два слова — «Я жива» — и нажала «отправить», пока не передумала.

Ответ пришел через сорок секунд. В Милане было на час меньше, и Марго, судя по всему, не спала. Голосовое сообщение. Я нажала на него, и комнату заполнил такой знакомый, такой громкий визг, что Уголек, дремавший на кровати, подскочил и спрятался под стол.

— ВЕЙН! Ты сволочь! Ты знаешь, что ты сволочь? Я тебя убью! Я прилечу и убью! Где ты была?!

Мы проговорили почти до рассвета. Вернее, говорила Марго, а я слушала и иногда вставляла «угу» и «правда?». Про Брера, где все курят и говорят о концептуальном искусстве. Про отца, который купил ей велосипед, а она в первый же день въехала на нем в фонтан. Про итальянца с курса, который носит шарф даже в помещении.

Когда она спросила, где была я, я сказала: «У папиной родни. За границей. Там всё было сложно». И это тоже была

почти правда. А когда она спросила, почему я плачу, я сказала, что не плачу.

— Ладно, — сказала Марго после паузы, и голос у нее стал другим, тихим. — Не хочешь — не говори. Только не пропадай больше. И это... Айрин. Тёма с девушкой. Анна, с графики, рыжая такая, помнишь?

— Нет, — сказала я.

И это была правда. Целиком.

Академический отпуск оформила бабушка — еще в сентябре, через какую-то свою знакомую в деканате. «По семейным обстоятельствам, до первого сентября». В середине апреля из Академии художеств пришло письмо: восстановиться можно на первый курс, заявление до конца июня. Бабушка положила его на холодильник, под магнит в виде сфинкса, и ничего не сказала.

Я тоже ничего не сказала. Письмо висело там неделю, потом две. Я проходила мимо него по десять раз в день и каждый раз отводила глаза.

Однажды я честно попыталась.

Достала альбом из рюкзака, с которым ходила на занятия в Валорисе. Я его с тех пор ни разу не открывала. Разложила на столе уголь, растушевку, клячку. Включила лампу. Открыла чистый лист — и замерла, потому что альбом сам раскрылся там, где я рисовала в последний раз.

Валорис.

Лив на подоконнике библиотеки, поджав ноги, с пером в зубах. Вал над конспектом, очки на кончике носа. Кай, который корчит рожу, потому что заметил, что я его рисую. Сильвар на краю вольера, с поднятым крылом, — я рисовала его три раза, пока не получилось перо. Елена в лазарете, со склянкой на просвет.

И Деймон.

Спящий. На моей подушке, в моей комнате, одна рука под щекой. Я нарисовала его на рассвете, когда он еще не проснулся, и он так и не узнал. Тени под ресницами. Прядь, упавшая на лоб. Черная лента на запястье — моя лента, которую он так и не снял. Ее я обвела слишком жирно, потому что у меня дрожала рука: я боялась, что он откроет глаза.

Я закрыла альбом. Положила сверху книгу. Потом еще одну.

Взяла чистый лист и начала рисовать Неву. Просто Неву, просто гранит, просто фонарь. Ничего особенного, упражнение для первокурсника. Линия набережной, линия воды. Я рисовала минут двадцать, а потом посмотрела на лист и увидела, что силуэт фонаря у меня получился высоким и широкоплечим, а тень от него упала на гранит, как плащ.

Я сломала уголь. Не нарочно — просто сжала слишком сильно.

Больше я в тот месяц не рисовала.

Зато я делала другое. Об этом не знала даже бабушка.

Каждую ночь, перед сном, я выключала свет, садилась на кровати, скрестив ноги, и закрывала глаза. И строила стену.

Этому меня научил Деймон — давно, еще осенью, когда мы готовились к допросу у Рида. «Вспомни что-то, что даст тебе защиту. Закрой двери своего разума». Тогда у меня ничего не получалось. Стена рассыпалась от первого толчка, и Деймон влезал в мои мысли так легко, будто я оставила дверь нараспашку. Потом получилось. Потом стало получаться хорошо.

Здесь толкать было некому. Нить молчала. Никто не пытался влезть мне в голову. Строить стену было незачем, и я сама не понимала, зачем это делаю. Наверное, затем же, зачем бабушка каждый вечер заводит часы с кукушкой, которая не кукует. Чтобы руки помнили.

Я строила ее из того, что знала. Из серого гранита набережной. Из штукатурки Академии художеств, облупленной у входа. Из старых кирпичей нашего двора-колодца. Камень к камню. Ряд за рядом. Сначала стена держалась минут пять, потом начинала плыть, как отражение в воде. Через неделю — пятнадцать. Через две — почти час, и я засыпала, так и не дав ей упасть.

Магия здесь была тонкой. Как воздух высоко в горах — вроде дышишь, а его не хватает. Когда я в ванной, при выключенном свете, открывала ладонь и звала свой свет, тот самый, серебряный, который в Валорисе зажег светоч Крофта, — он едва теплился. Как свеча за молочным стеклом. Мигал

и гас, стоило мне отвлечься.

Но стену я могла строить и без него. Стене нужна была не магия. Ей нужно было упрямство.

Упрямства у меня оставалось много. Больше, чем всего остального.

В конце апреля я встретила Тёму.

Я не собиралась никого встречать. Я шла в аптеку для бабушки, и дорога из аптеки вела мимо Академии, и я пошла по другой стороне улицы, чтобы не смотреть на ее двери. Не помогло. У самого перехода меня окликнули.

— Айрин?

Он стоял у светофора, с тубусом через плечо, в той же куртке, что и осенью. Только волосы стали короче. Рядом с ним стояла девушка — рыжая, коротко стриженная, с колечком в носу и в огромном вязаном свитере, рукава которого закрывали пальцы. Она держала Тёму под руку.

— Айрин, — повторил он и шагнул ко мне, будто хотел обнять, но в последний момент передумал и неловко остановился. — Ты вернулась. Ты... Где ты была? Мы с Марго с ума сходили. Ты даже телефон не брала.

— Семейные дела, — сказала я. — Извини. Правда, извини.

— Я в деканат ходил. Мне сказали — академ, и всё. Я думал, ты заболела. — Он смотрел на меня, и в его лице было столько честного беспокойства, что мне стало стыдно. — Ты

как? Ты похудела.

— Нормально.

Рыжая девушка переводила взгляд с него на меня. Внимательно, неторопливо, как оценивают натурщицу перед долгой постановкой: пропорции, свет, тени.

— Тём, — сказала она, — это та самая Айрин?

Тёма покраснел. До ушей. Я и забыла, как легко он краснеет.

— Это Аня, — сказал он слишком быстро. — Аня, это Айрин, мы учились вместе. На одном курсе.

— Я знаю, кто это. — Аня улыбнулась мне. Улыбка была вежливой, а взгляд — нет. — Ты у него в телефоне на заставке была. До ноября.

— Ань...

— Что «Ань»? Я просто говорю. — Она крепче взяла его под руку. — Мы опаздываем, Тём. У нас просмотр.

— Да, — сказал он, не двигаясь с места. — Айрин, если что... номер у меня тот же. Если захочешь поговорить, как раньше. Я...

— Тём, — сказала Аня.

— Конечно, — сказала я. — Обязательно.

Они ушли. Тёма один раз обернулся. Аня — нет, но я видела, как напряглась ее спина в огромном свитере.

Я стояла у перехода, пока светофор не переключился три раза. И думала не о Тёме. Я думала о том, что они просто идут. По улице, днем, держась за руки. Ссорятся из-за ерун-

ды, опаздывают на просмотр. И никто не решает за них, в каком мире им жить.

Бабушкино лекарство я в тот день так и не купила. Вспомнила о нем только дома, когда она спросила.

— Завтра, — сказала она, взглянув на мое лицо. — Не горит.

Я ушла в комнату и, чтобы чем-то занять руки, взялась отскабливать старую палитру. Масляная краска на ней засохла еще в сентябре, слоями, коркой. Я скребла ее мастихином — с силой, со злостью, не глядя. Мастихин соскользнул.

Порез был пустяковый. Вдоль подушечки большого пальца, неглубокий, но кровь пошла сразу, и я зашипела и сунула палец в рот.

И в ту же секунду кулон на груди дернулся.

По-другому сказать нельзя. Не потеплел — дернулся, коротко и горячо, как будто кто-то на другом конце вздрогнул. Тепло толкнулось мне в грудь и тут же отхлынуло, оставив после себя ровный, спокойный жар, сильнее прежнего.

Я замерла с пальцем во рту.

Медленно вытащила кулон из-под футболки. Капля янтаря лежала на ладони, темная, почти черная в вечернем свете. Обычная. Тихая. Как будто ничего не было.

Показалось. Конечно, показалось. Я плохо сплю, мало ем и уже месяц разговариваю с котом. Мне много чего кажется.

Я заклеила палец пластырем и больше об этом не думала.

Почти.

В последнюю ночь апреля по Неве пошел ладожский лед.

Я узнала об этом по звуку. Окно было приоткрыто, и сквозь сон я слышала странный шорох, тихий, бесконечный, похожий на то, как шуршит бумага, если ее медленно мять. Я встала, накинула куртку и вышла, не включая свет.

К сфинксам я не ходила уже неделю. Перестала. Не потому что надоело — потому что стало страшно, что однажды я приду туда и ничего не почувствую.

В ту ночь я пошла.

Нева была белой. От края до края по ней плыли льдины — серые, грязные, огромные, с вмерзшими в них ветками и мусором. Они напозлали друг на друга, крошились о гранит, разворачивались в течении и уплывали к заливу, медленно, как во сне. Над водой стоял холод, и пахло так, как пахнет только весной у реки: снегом, илом, чем-то сырым и новым.

Я встала между сфинксами. На то самое место.

Ничего. Ни ряби, ни отклика. Слеза осталась дома, в шка-тулке, и Излом, наверное, даже не знал, что я здесь.

Я стояла и смотрела, как лед идет мимо. И вдруг подумала: каждый год. Каждую весну вся эта толща, которая всю зиму казалась вечной, трескается и уходит в залив. Сама. Ее никто не спрашивает.

А я стою здесь уже месяц. Каждую ночь. Жду.

Жду, что он передумает. Что выйдет из тумана и скажет:

«Пойдем домой». Что дверь откроется. Что кто-нибудь — Магнус, Совет, Деймон, кто угодно — решит, что мне можно вернуться.

Я вспомнила арку у западных ворот. Его голос, мертвый и ровный: «Документы подписаны. Ты возвращаешься в свой мир». Его «я решаю так, как будет правильно». И свой крик, который бился о стену его Тени: «Не смей решать за меня!»

Он не послушал. Он решил. Магнус подписал. Меня вывели из Этерии, как ребенка, которого отправляют спать, пока взрослые разбираются с чем-то важным.

А я — что сделала я?

Пришла домой. Плакала в подушку. Ходила к сфинксам. Сидела на полу с телефоном. Не рисовала, не училась, не жила. Делала ровно то, что от меня ждали. Сидела тихо в своем мире без магии и ждала, пока кто-то другой распорядится моей жизнью.

Я сама превратила его решение в приговор.

Мне вдруг стало жарко, несмотря на ледяной ветер с реки. Не от кулона — изнутри. Злость поднималась медленно, тяжело, как вода в Неве перед наводнением, и я не стала ее останавливать. Впервые за месяц внутри было что-то, кроме пустоты.

— Хватит, — сказала я вслух.

Сфинкс слева смотрел мимо. Лыдина размером с машину ударилась о гранит под моими ногами и, крошась, ушла дальше.

— Хватит, — повторила я громче. Голос был хриплым, чужим. — Слышишь? Хватит.

Я не знала, к кому обращаюсь. К нему. К себе. К Неве. Потом развернулась и пошла домой. Не оглядываясь.

Утром я встала раньше бабушки и подошла к зеркалу в прихожей. Старое, овальное, в темной раме, то самое, перед которым я когда-то собирала волосы в хвост, опаздывая на рисунок.

Из зеркала на меня смотрела худая бледная девушка в мятой футболке. Ключицы торчали. Под глазами синели круги. Руки, которые в Валорисе держали клинок по два часа подряд, стали тонкими, как у подростка.

Я встала в стойку. Ту, которой меня учил Стейн на первой неделе: ноги на ширине плеч, вес на передней, колени мягкие, локти прижаты. Простая базовая стойка. В Валорисе я стояла в ней по сорок минут, и Стейн ходил между нами и бил палкой по коленям тех, кто выпрямлялся.

Через две минуты у меня задрожали ноги. Через три — я выпрямилась сама, потому что бедра горели.

«Опять медленно, Вейн».

Его голос. Сухой, насмешливый, с ленцой. Я слышала его так ясно, будто он стоял у меня за спиной, прислонившись к косяку и скрестив руки на груди.

Я развернулась так резко, что задела вешалку. Конечно, в прихожей никого не было. Только бабушкино пальто, мой

старый зонтик и Уголек, который сидел на табуретке и смотрел на меня желтыми глазами.

— Даже не начинай, — сказала я ему.

Уголек зевнул.

Я снова встала в стойку. Держала, пока не задрожали колени, и еще немного, и еще — пока ноги не подогнулись и я не села на пол, тяжело дыша. Голос в голове больше ничего не говорил. Но он и не был нужен. Я и сама знала: медленно. Слабо. Позорно.

Магия здесь едва теплилась. С этим я ничего не могла сделать — пока. Но тело было моим. Тело работало в любом мире.

Я вытащила телефон и набрала в поиске: «тайский бокс Васильевский остров».

Зал нашелся на Кожевенной линии, в подвале бывшего завода, между автосервисом и складом стройматериалов. Ни вывески, ни рекламы — только лист бумаги на железной двери, приклеенный скотчем: «МУАЙ-ТАЙ. Набор во взрослые группы. Пн, ср, пт — 19:00». И номер телефона, написанный от руки.

Я пришла в пятницу, без пяти семь, в старых спортивных штанах и кроссовках, в которых когда-то бегала на физкультуру. Спустилась по крутой лестнице. Внизу пахло потом, резиной, хлоркой и чьим-то дешевым дезодорантом. Гремела музыка. Под потолком гудели лампы.

В зале было человек пятнадцать. Почти все — парни. Двое лупили тяжелые мешки, висящие на цепях, и мешки раскачивались, как маятники. Кто-то прыгал на скакалке так быстро, что она свистела. В углу, на ринге, огороженном потертыми канатами, двое в шлемах работали в паре — медленно, сосредоточенно, обмениваясь ударами ног.

Никто не обратил на меня внимания. Кроме одного человека.

Он сидел на скамейке у входа и заполнял какой-то журнал. Лет пятидесяти, невысокий, крепко сбитый, с бритой головой и носом, который ломали явно не один раз. Одно ухо было бесформенным, как вареник. Он поднял на меня глаза — маленькие, светлые, спокойные — и оглядел с головы до ног. Не так, как Аня. Так, как Стейн оглядывал новичков на плацу: кто выдержит, кто сломается.

— Записываться? — спросил он.

— Да.

— Занималась?

Я подумала про Валорис. Про палку Стейна. Про клинок, мишени, Деймона, который ставил мне руку, обхватив запястье теплыми пальцами.

— Немного. Фехтование. И... общая физическая подготовка.

— Фехтование, — повторил он без выражения. Посмотрел на мои руки. — Бинты есть?

— Нет.

— Перчатки?

— Нет.

— Значит, сегодня скакалка. — Он кивнул на стену, где на гвоздях висели скакалки. — Час. Без остановок. Остановишься — начнешь сначала. Не сдохнешь — приходи в понедельник. Я Григорий Палыч. Можно Палыч.

— Айрин.

— Айрин. Странное имя, — повторил он и вернулся к своему журналу. — Час пошел.

Я взяла скакалку.

Первые десять минут дались легко. На пятнадцатой начали гореть икры. На двадцатой я сбилась, хлестнула себя по лодыжке, остановилась — и увидела, что Палыч, не поднимая головы от журнала, поднял один палец. «Сначала».

Я начала сначала.

На сороковой минуте я перестала чувствовать ноги. Пот заливал глаза, футболка прилипла к спине, легкие драло, как наждаком. Мимо проходили парни с мешков, косились на меня, кто-то хмыкнул. Мне было всё равно. В голове не осталось ни Деймона, ни Валориса, ни арки, ни сфинксов. Только счет: раз, раз, раз. Свист скакалки. Стук подошв по резиновому полу.

Впервые за месяц у меня в голове было тихо. Не пусто — тихо.

Когда Палыч наконец сказал: «Всё», я не сразу поняла, что это мне. Остановилась. Скакалка упала на пол. Ноги по-

догнулись, и я села прямо там, у стены, хватая ртом воздух.

Палыч подошел и остановился надо мной. Посмотрел сверху вниз. Потом бросил мне на колени что-то мягкое, свернутое в рулон. Два рулона. Красные бинты, потертые, но чистые.

— Понедельник, — сказал он. — Семь. Не опаздывай.

И ушел к рингу.

Домой я шла под дождем, медленно, потому что ноги не слушались. Икры сводило. Пальцы, которыми я держала ручки скакалки, не разжимались до конца. Завтра будет болеть всё. Послезавтра — еще хуже.

Я сунула руку в карман куртки и сжала красные бинты.

Кулон под футболкой был теплым. Тихим, ровным — как всегда. Я не стала его трогать.

Я шла по Кожевенной линии, мимо мокрых автомобилей и темных окон, и думала о том, что в понедельник нужно купить перчатки. И что бинты наматываются как-то хитро, через пальцы, надо посмотреть, как. И что Палыч сказал «не опаздывай», а не «если придешь».

Я думала о понедельнике.

Не о нем. О понедельнике.

Глава 3

Первый синяк я нашла в среду утром, на левой голени. Желто-лиловый, размером с яйцо, с четким краем — там, где в меня прилетела нога парня по имени Стас, с которым Палыч поставил меня отрабатывать защиту.

К пятнице синяков было шесть. К концу второй недели я перестала их считать.

Бабушка увидела их в воскресенье, когда я вышла из ванной в шортах. Остановилась в дверях кухни с половником в руке и долго смотрела на мои ноги.

— Упала? — спросила она.

Можно было соврать. Я два месяца отвечала ей молчанием и «нормально». Я вдруг поняла, что больше не хочу.

— Тайский бокс, — сказала я. — Подвал на Кожевенной. Три раза в неделю.

Бабушка подняла брови. Потом опустила. Посмотрела на мои руки — костяшки были ободраны, хотя я бинтовала их так, как показал Палыч.

— Бить-то хоть научили?

— Пока учат, как не получать.

— Тоже дело, — сказала бабушка и вернулась к плите. Помешала суп. А потом, не оборачиваясь, добавила: — В морозилке горошек. Прикладывай к голени, а то будет как у твоего деда.

Я так и не спросила, при чем тут дед. Она бы всё равно не ответила.

Зал оказался совсем не похож на плац Валориса.

На плацу Стейн мог сломать тебе палкой колено, но всё равно оставался профессором, а ты — кадетом. Были правила, устав, строй. Здесь правил не было. Точнее, было одно, его Палыч сказал мне на второй тренировке, когда я пожаловалась, что Стас бьет в полную силу:

— А ты думала, на улице будут бить вполсилы?

Здесь никто не знал, кто я. Никто не шептался за спиной «пустышка», «игрушка Блэквуда». Парни сначала косились — мелкая, тощая, с длинной косой, которую я туго закручивала на затылке. Потом перестали. Стас после первой недели начал здороваться. Высокий молчаливый Рустам, который бил мешок так, что звенела цепь, однажды показал мне, как правильно ставить локоть. Палыч на меня почти не смотрел. Но он и на других почти не смотрел. Он видел всё — я это быстро поняла — просто не тратил слова.

Руки у меня были никакие. Удар слабый, кулак разваливался, я забывала возвращать руку к лицу после джеба и тут же получала в нос. В Валорисе меня учили держать клинок, а не бить кулаком, и тело путалось: тянулось к оружию, которого не было.

Зато ноги помнили.

Это я поняла на третьей неделе, когда Палыч впервые по-

ставил меня в пару с девушкой — коренастой Викой, призером города в своем весе. Она пошла на меня, как трамвай, а я ушла. Просто ушла в сторону — шаг, скрут, шаг, — и она пролетела мимо. Потом еще раз. И еще. Я даже не думала об этом. Стейн полгода гонял нас по разметке на плацу, пока работа ног не стала такой же естественной, как дыхание. «Вы умрете не от удара, кадет, а от того, что стояли на месте».

Вика достала меня на четвертый раз — коленом в бок, так что у меня потемнело в глазах. Но Палыч, который сидел на скамейке со своим журналом, поднял голову.

— Стоп, — сказал он. — Айрин. Подойди.

Я подошла, держась за ребра.

— Где фехтовала?

— В... академии, — сказала я. Почти правда.

— Ноги у тебя поставлены. — Он смотрел на меня своими маленькими светлыми глазами, и по его лицу ничего нельзя было прочесть. — Руки — нет. Голова тоже нет: ты уходишь и не бьешь. Зачем уходишь, если не бьешь?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю. — Он вернулся к журналу. — Еще три раунда. Уходишь — бьешь. Не бьешь — не уходишь.

Кулон грелся.

Я старалась не обращать на это внимания. Но к концу мая не замечать стало трудно.

Это случалось не всегда. Не тогда, когда я уставала, и не

тогда, когда злилась. Только когда мне было больно — по-настоящему больно, от удара, который проходил. Вика попала мне в печень, и в ту же секунду под майкой, у самой кожи, вспыхивало короткое тепло. Не жар — именно тепло, как если бы на грудь на мгновение положили ладонь. И тут же гасло.

В первый раз я списала это на то, что разогрелась. Во второй — на то, что мне показалось. В пятый я остановилась посреди раунда, и Викачуть не снесла мне голову.

После тренировки я сидела в раздевалке на скамейке и держала кулон в руке. Камень был обычной температуры. Темный, тихий, капля в серебряных коготках.

«Янтарь всегда теплый».

Я вспомнила, как быстро он это сказал. Как отвел глаза.

А потом вспомнила сфинксов. Холодную ладонь печати. Свое «хватит». И заставила себя убрать кулон обратно под майку. Если в нем есть что-то еще — какое-то защитное заклинание, наговор на удачу, что-нибудь в этом роде, — это ничего не меняет. Деймон по ту сторону запертой двери. А я — по эту. И отвечать за мои синяки буду я сама.

В середине июня в зал пришел человек, которого я раньше не видела.

Он не переодевался и не тренировался. Сел на скамейку рядом с Палычем, они пожали друг другу руки, как старые знакомые, и он стал смотреть. Лет тридцати, высокий, су-

хой, в черной футболке и джинсах. Короткие темные волосы, недельная щетина. Тыльные стороны ладоней покрывали татуировки, выцветшие, синие, такие делают не в салоне. Он сидел совершенно неподвижно, только глаза двигались, — и это меня почему-то раздражало.

В тот вечер Палыч поставил меня с Викой на три полных раунда, в защите, но в полный контакт. «Уходишь — бьешь».

Я ушла. Ударила. Ушла. Ударила. Получила в голову так, что мир зазвенел, отступила, сморгнула пот. Вика пошла добивать — и я сделала то, чего Палыч меня не учил. Не ушла назад, а нырнула вперед, ей под руку, и ударила локтем снизу вверх, в челюсть, коротко и резко. Как учил Деймон в оружейной: «Когда противник сильнее — не убегай от него. Входи внутрь. Там, где он тебя не ждет».

Вика села на пол ринга.

Не упала — села, удивленно, и тут же поднялась. Шлем смягчил удар. Она была в порядке. Только смотрела на меня так, будто увидела впервые.

— Стоп, — сказал Палыч. Ничего больше. Но я видела, что человек рядом с ним чуть наклонил голову.

Он подошел ко мне, когда я уже разматывала бинты у раздевалки.

— Локоть, — сказал он вместо приветствия. — Палыч такому не учит. Где взяла?

— Сама придумала.

Он усмехнулся — одним углом рта.

— Врешь ты плохо. А дерешься неплохо. — Он протянул руку. — Дмитрий.

Я посмотрела на его руку. На татуировки. Пожала.

— Айрин.

— Красивое имя. Не местное. — Он помолчал. — Я провозжу бои, Айрин. Женские. Не здесь — в другом месте. Без судей федерации и без медалек, зато с деньгами. Хорошими. Публика приходит смотреть на тех, кто умеет драться, а не на тех, кто красиво стоит в стойке. Ты — умеешь. Пока не очень. Но умеешь.

— Подпольные бои, — сказала я.

— Звучит романтичнее, чем есть на самом деле. Подвал, ринг, свет, триста человек и ставки. — Он достал из кармана сложенный листок, вырванный из блокнота, с номером телефона, написанным от руки. — Не сейчас. Сейчас тебя там съедят. Поработай еще месяц, если не передумаешь, — позвони.

— А если я не позвоню?

— Значит, не позвонишь. — Он пожал плечами. — Палыч расстроится меньше всех.

Палыч, сидевший на скамейке в трех шагах, ничего не сказал и не поднял головы. Но когда Дмитрий ушел, а я подошла попрощаться, он, не отрываясь от журнала, бросил:

— Дима — нормальный. Слово держит. Но там бьют не для красоты. Подумай.

— Я подумаю.

— Подумай, — повторил он. — Это не про деньги, Айрин. Я вижу, зачем ты сюда ходишь. Ты не учиться пришла. Ты пришла, чтобы тебе было больно. — Он наконец поднял глаза. — Больно можно и бесплатно. Там за это платят, и это хуже.

Я не нашлась, что ответить.

В ту ночь я рисовала.

Первый раз с апреля. Это вышло само: я сидела на кровати с пакетом горошка на ребрах, смотрела на листок с номером Дмитрия и не знала, что с ним делать. Потом взяла карандаш — просто чтобы занять руки — и начала водить им по обороту листка.

Перо.

Одно маховое перо, длинное, с тонким стержнем. Потом второе. Потом третье, короче, внахлест. Я рисовала, не думая, и через полчаса на листке было крыло. Не ангельское, не лебединое — маленькое, острое, сильное. Крыло птицы, которая не парит, а режет воздух. Ласточка. Или стриж.

Я взяла чистый лист из альбома. Нарисовала второе крыло, зеркальное. Расправленные, они сходились в одной точке, как если бы птица только что оттолкнулась от чего-то и рванула вверх.

Пташка.

Я так и не спросила его, почему именно так. Думала, что знаю: потому что в ту первую ночь у сфинксов я была ма-

ленькой, мокрой и глупой. Птичкой, выпавшей из гнезда, которую нужно оберегать, держать в ладонях, ловить, когда она падает.

Я смотрела на два крыла на бумаге. Они не выглядели слабыми.

Если уж я Пташка, то пусть буду той, которая летает сама.

Салон я нашла на Литейном, во дворе-колодце, на четвертом этаже без лифта. Мастера звали Ника — высокая девушка с бритым виском, кольцом в губе и руками, сплошь покрытыми цветами и змеями. Она взяла мой эскиз, долго рассматривала его на свету, потом подняла на меня глаза.

— Сама рисовала?

— Сама.

— Художница?

— Была.

Ника кивнула, будто это всё объясняло, и ничего больше не спросила. Мне это понравилось.

— Где?

Я повернулась к ней спиной и показала пальцем между лопаток. Туда, где позвоночник делает едва заметный изгиб.

— Здесь. Чтобы крылья были вдоль лопаток.

— Будет больно, — сказала Ника. — Там кость близко.

— Я знаю.

Было больно. Четыре часа я лежала на животе на холодной кушетке, уткнувшись лбом в сложенные руки, и игла жуж-

жала над позвоночником, как злая оса. Сначала боль была острой и чистой. Потом стала тупой, горячей, сплошной. Ника работала молча, только иногда говорила: «Дыши». Я дышала.

Кулон под грудью, прижатый к кушетке, грелся все четыре часа. Не вспышками, как в зале. Ровно. Постоянно. Будто кто-то на другом конце всё это время держал ладонь на моем сердце и не убирал.

Я закрыла глаза и позволила себе — один раз, только один — представить, что это правда.

Потом открыла и выбросила эту мысль из головы.

Когда Ника наконец выключила машинку и поставила зеркало так, чтобы я могла увидеть спину в большом зеркале на стене, я долго молчала.

Крылья поднимались от позвоночника вдоль лопаток — черные, с тонкой серой растушевкой на маховых перьях. Кожа вокруг была красной и припухшей, по контуру еще блестела сукровица. Но они уже были там. Мои. Будто под кожей у меня всегда были эти крылья, и Ника их просто проявила, как фотографию.

— Ну как? — спросила она.

— Да, — сказала я. — Да. Это они.

Бабушка увидела их через неделю, когда я сняла пленку и, забывшись, вышла на кухню в майке на тонких бретельках.

Она долго смотрела мне в спину. Я стояла у холодильника

с бутылкой молока и ждала.

— Хорошо нарисовано, — сказала она наконец. — Сама?

— Сама.

— Видно. — Она помолчала.

Марго позвонила по видеосвязи в конце июня, в два часа ночи, из какого-то миланского бара. На заднем плане гремела музыка, кто-то смеялся по-итальянски.

— Покажи! — заорала она. — Ты написала «сделала тату» и пропала на два дня! Покажи немедленно!

Я развернула камеру и показала. Марго замолчала. Для нее это было почти невозможно.

— Вейн, — сказала она наконец совсем другим голосом. — Это ты рисовала? Это же... Это лучшее, что ты вообще рисовала.

— Спасибо.

— Нет, правда. Ты всегда рисовала, как будто извинялась. А это — нет. — Она помолчала. Потом прищурилась, приблизив лицо к экрану так, что я видела только один ее глаз. — Так. А теперь лицо покажи. Ближе. Да что ж ты такая бледная, господи, как будто тебя из склепа достали.

— Спасибо еще раз.

— Слушай меня. — Марго махнула кому-то за кадром, чтобы ее не трогали. — У тебя глаза — я тебе год назад говорила — совершенно бешеные. Аквамарин. Таких глаз ни у кого нет. А ты их прячешь и ходишь в серой кофте, как биб-

лиотекарша. Есть ручка? Пиши. Изумрудные тени. Не салатовые, не болотные — изумрудные, глубокие. Растушевать от века к брови, в дымку. Темный карандаш по слизистой. Тушь. Всё. Больше ничего не надо, слышишь? Ни румян, ни помады. Только глаза.

— Марго, мне не надо...

— Надо, — сказала Марго твердо. — Тебе — надо.

Изумрудные тени я купила на следующий день. Красила глаза полчаса, три раза смывала и начинала сначала, пока не получилось так, как сказала Марго: дымка от ресниц к брови, темная, глубокая, как вода в Неве под мостом. Глаза в ней стали ярче. Намного ярче. Аквамарин горел, как лед, сквозь который светит солнце.

Кожаные штаны нашлись в винтажном магазине на Горькой, почти даром, потому что у них был надорван шов на поясе. Я зашила его сама. Ботинки — тяжелые, на шнуровке, с высоким голенищем — я купила на деньги, которые бабушка годами откладывала мне «на всякий случай». Мне было стыдно, и я пообещала себе, что верну всё до копейки.

Последним был нож.

Стилет отца — тот, с соколом на рукояти, — остался в Валорисе. Как и всё остальное. Но тело всё равно тянулось к нему: на тренировках, на улице, ночью, когда я просыпалась от снов. Пальцы искали рукоять у бедра и не находили.

В охотничьем магазине на Невском продавец долго пока-

зывал мне складные ножи с кнопками и пластиковыми рукоятками. Я качала головой. В конце концов он принес из подсобки маленький прямой нож в кожаных ножнах — узкий клинок на ладонь, простая деревянная рукоять, ничего лишнего.

Я взяла его в руку. Он лег в ладонь так, будто ждал меня. — Беру, — сказала я.

Вечером я стояла перед бабушкиным овальным зеркалом в прихожей.

Кожаные штаны. Черная майка. Ботинки, в правом голенище — нож, рукоять прижата к косточке. Волосы, заплетенные в тугую косу, лежат вдоль спины, и сквозь тонкую ткань майки чуть темнеет край крыла. Изумрудная дымка вокруг глаз. Синяк на скуле, уже желтый, почти сошедший.

Из зеркала на меня смотрела девушка, которую я не знала.

Не та, что в марте вернулась из Этерии с разбитым сердцем. И не та, что год назад бежала по набережной на занятия с чехлом холстов. Другая. Старше. Жестче. С прямой спиной и спокойным взглядом.

Она мне нравилась.

Уголек сидел на табуретке и смотрел на меня желтыми глазами. Потом спрыгнул, подошел и потерся о мой ботинок, тот, где был нож. Одобрил.

Я достала телефон. Нашла в контактах номер, который неделю назад переписала с листка с крыльями. Подождала

два гудка.

— Да, — сказал Дмитрий.

— Это Айрин, — сказала я. — Из зала Палыча. Когда?

Глава 4

— Суббота, — сказал Дмитрий. — Адрес пришлю в шесть вечера, не раньше. Бинты свои, капа своя. Перчатки дам. Бой три раунда по три минуты. Если сдаешься — стучишь. Если не можешь стучать — я сам остановлю. Вопросы?

— Сколько платят?

— Дебют — двадцать. Победа — сверху еще десять. — Он помолчал. — Если проиграешь, двадцать всё равно твои. За то, что вышла.

— Хорошо.

— И еще. — В трубке что-то шелкнуло, будто он закурил. — Публике нужно имя. Не паспортное. Что-нибудь, что можно кричать.

Я стояла у окна в своей комнате. Над крышами висел июльский вечер, светлый, как разбавленное молоко, — белые ночи только заканчивались. На подоконнике лежал альбом, раскрытый на эскизе крыльев.

— Пташка, — сказала я.

Дмитрий помолчал.

— Тебя за такое имя порвут.

— Пусть попробуют.

Он хмыкнул — коротко, почти одобрительно — и отключился.

Я еще долго стояла у окна. Сказала — и сама удивилась,

как легко. Это имя было его. Он произносил его так, что у меня подкашивались колени. Лениво, насмешливо, нежно, зло — по-разному, но всегда так, будто держит меня в ладони.

Теперь его будут кричать триста незнакомых людей в подвале. И держать меня в ладони будет некому.

Это было правильно. Я так решила.

До субботы оставалось четыре дня, и в один из них случилась выставка.

Тёма прислал сообщение в понедельник: «Летний просмотр курса, четверг, в шесть. Мою работу взяли в экспозицию. Придешь? Если не хочешь — пойму». Я смотрела на это «пойму» минут пять. Потом написала: «Приду».

В Академию художеств я не заходила с прошлого сентября. В четверг я поднялась по той же гранитной лестнице, прошла под той же аркой, и меня накрыло запахом — скипидаром, пылью, старым деревом, — так сильно, что я на секунду остановилась в дверях. Здесь я была другой. Девочкой с чехлом холстов, которая всего боялась и всем улыбалась.

Девочка в зеркале холла была в кожаных штанах, черной майке и тяжелых ботинках. С изумрудной дымкой вокруг глаз и ссадиной на костяшках.

На меня оборачивались. Кто-то из бывших однокурсников узнал, толкнул соседа локтем. Я слышала шепот за спиной: «Это Вейн? Серьезно?», «Она же в академе была», «Что

с ней случилось?». Год назад от такого шепота я бы сгорела со стыда. Сейчас я просто шла дальше.

Тёма стоял у своей работы в дальнем зале. Большой холст — Нева зимой, вид с Дворцового моста, лед и низкое солнце. Хорошая работа. Честная, аккуратная, как он сам.

Он увидел меня и застыл.

— Айрин, — сказал он. Потом еще раз, тише: — Айрин.

— Привет, Тём. — Я встала рядом и посмотрела на холст. — Красиво. Свет на льду особенно.

— Ты... — Он запнулся. Покраснел. Посмотрел на мои глаза, на мои руки, снова на глаза. — Ты так изменилась.

— Знаю.

— Нет, я не в том смысле. То есть в хорошем. Ты... — Он окончательно сбился и замолчал.

— Тём, — сказали у меня за спиной.

Аня подошла с двумя пластиковыми стаканчиками вина. Протянула один Тёме, не глядя на меня. Потом все-таки посмотрела — медленно, сверху вниз, задержав взгляд на ботинках. И на руках. Ссадины на костяшках было трудно не заметить.

— Привет, — сказала она. — Айрин, да? Бокс или что?

— Иногда.

Я думала, она фыркнет. Скажет что-нибудь колкое, как тогда, у перехода. Но Аня вдруг улыбнулась — странно, одним уголком рта, будто знала что-то, чего не знала я.

— Иногда, — повторила она. — Понятно.

Она взяла Тёму под руку и увела к соседнему залу, где кто-то из преподавателей говорил речь. Тёма обернулся. Дважды. Я видела, как Аня сжала его локоть, и как он, не глядя на нее, высвободил руку.

Мне не было от этого ни приятно, ни неприятно. Только немного грустно. За Тёму. За Аню. За то, что я больше не могу смотреть на эти залы, на холсты, на людей со стаканчиками и чувствовать, что это мой мир.

Я ушла, не дождавшись конца речи.

Адрес пришел в субботу ровно в шесть: промзона за Обводным каналом, номер корпуса и одно слово — «Подвал».

Это действительно был подвал. Бывший цех какого-то завода, огромный, с низким бетонным потолком и колоннами, между которыми висел дым. В центре на возвышении стоял ринг — не такой, как у Палыча, а настоящий, с синими канатами и прожекторами по углам. Вокруг — люди. Много людей. Они стояли, сидели на ящиках и бочках, висели на перилах металлической лестницы, ведущей на верхнюю галерею. Мужчины в куртках, девушки на каблуках, парни в спортивных костюмах. Кто-то пил пиво из банки. Кто-то записывал ставки в телефон. Пахло потом, табаком, разлитым пивом и чем-то сладким, электронным, — дымом от вейпов.

У входа меня остановил охранник — огромный, бритый, в черной футболке с надписью «STAFF». Быстро и равнодушно провел руками по моим бокам, по спине, по ногам.

На правом ботинке его руки остановились.

Он вытащил нож из голенища. Посмотрел на него. Потом на меня.

— Это что?

— Нож.

— Вижу, что нож. Зачем?

Я не успела ответить. Из-за его спины вышел Дмитрий — в той же черной футболке, с телефоном в руке. Посмотрел на нож. Взял его у охранника, повертел.

— Мой боец, — сказал он охраннику. — Я разберусь.

Охранник пожал плечами и вернулся к двери. Дмитрий взвесил нож на ладони, провел пальцем вдоль клинка, не касаясь острия.

— Пользоваться умеешь?

— Нет.

— Тогда зачем носишь?

Я хотела сказать: «Потому что без него я как будто голая». Или: «Потому что у меня был стилет с соколом на рукояти, и его больше нет». Но сказала:

— Чтобы был.

Дмитрий долго смотрел на меня. Потом сунул нож себе в задний карман.

— После боя отдам, — сказал он. — И после боя поговорим. А сейчас иди переодевайся. Ты вторая.

Мою соперницу звали Кира. На афише, которую объявля-

ли через хриплый динамик, ее называли «Кира Молот», и публика встретила ее ревом — ее здесь знали. Высокая, широкоплечая, с короткой стрижкой и татуировкой змеи на шее. Она была старше меня лет на пять и тяжелее килограммов на десять.

— И в синем углу — дебют! — крикнул динамик. — Пташка!

Кто-то засмеялся. Кто-то свистнул. «Пташка! Ну всё, щас ошпилют!» — проорали с галереи, и смех стал громче.

Я поднялась на ринг. Свет прожекторов бил в глаза так, что толпа исчезла, превратилась в темноту, в шум, в запах. Остались только ринг и Кира.

Гонг.

Кира пошла вперед, как Вика тогда — тараном. Я ушла. Еще раз. Еще. Публика засвистела: им не нравилось, когда бегают. Кира усмехнулась, загнала меня в угол и ударила в корпус — тяжело, с проворотом, так, что из меня вышибло воздух.

Кулон вспыхнул.

Горячо, резко, прямо под сердцем. Как будто кто-то вскрикнул.

Я на долю секунды отвлеклась — и Кира попала мне в голову. Ринг качнулся. В ушах зазвенело. Я отступила, закрылась, получила еще раз, по рукам, по ребрам. Кулон горел. Каждый удар — вспышка. Каждый удар — как будто кто-то вздрагивает там, на другом конце, и я это чувствую, и это

отвлекает больше, чем сама боль.

Гонг. Конец первого раунда.

Я села в угол на табурет. Дмитрий, который был у меня в углу вместо тренера, сунул мне в рот бутылку с водой, вытер лицо полотенцем.

— Ты куда смотришь? — спросил он сквозь шум. — Ты не на нее смотришь. Ты куда-то внутрь смотришь. Что с тобой?

Я не ответила. Прижала перчатку к груди, туда, где под майкой лежал кулон. Он был горячим.

«Отстань», — подумала я. Зло, отчетливо. Не знаю кому. Камню. Ему. Себе. — «Отстань от меня. Это мой бой. Мой».

И внутри стало тихо.

Не потому что кулон остыл — он не остыл. А потому что я вдруг поставила стену. Ту самую, которую строила каждую ночь с апреля. Камень к камню, ряд за рядом: гранит набережной, штукатурка Академии, кирпичи двора-колодца. Только на этот раз я поставила ее не между собой и Деймоном. Между собой и всем, что было не этим рингом.

Гонг.

Кира пошла вперед. Я ушла — и ударила. Ушла — ударила. Джеб, джеб, в сторону. Как говорил Палыч: уходишь — бьешь. Кира попала мне по плечу, я ответила в корпус. Она пошла в клинч, обхватила меня за шею, потянула вниз, чтобы ударить коленом, — и я вспомнила. «Когда противник сильнее — не убегай. Входи внутрь».

Я вошла внутрь. Нырнула под ее руку и ударила локтем

— коротко, снизу, в челюсть.

Кира отшатнулась. Не упала, но отшатнулась, и в ее глазах впервые мелькнуло что-то, кроме скуки.

Публика заревела. Кто-то на галерее, тот, что кричал про «ощиплют», заорал: «Давай, Пташка! Давай!»

В третьем раунде Кира устала. Она была сильнее, но тяжелее, и я гоняла ее по рингу, как Стейн гонял нас по плацу. На второй минуте она промахнулась, провалилась вперед — и я ударила ей ногой в корпус, той самой круговой, которую Палыч заставлял меня отрабатывать по триста раз за тренировку.

Кира опустилась на колени. Рефери — щуплый мужчина в полосатой футболке — начал считать. Она встала на восьми. Посмотрела на меня. Потом на Дмитрия. И подняла руку.

Сдалась.

Секунду я стояла, не понимая. Потом рефери схватил меня за запястье и поднял мою руку вверх, и подвал взорвался.

— ПТАШ-КА! ПТАШ-КА! ПТАШ-КА!

Они кричали его. Триста человек в дыму, под бетонным потолком. Мое имя. Его имя для меня — теперь мое.

Я стояла в свете прожекторов с поднятой рукой, мокрая, избитая, с разбитой губой, и улыбалась. Впервые за четыре месяца — улыбалась по-настоящему.

Дмитрий отдал мне конверт и нож в каморке за рингом, где пахло мазью и хлоркой.

— Тридцать, — сказал он. — Пересчитай.

Я не стала пересчитывать. Сунула конверт в рюкзак. Дмитрий присел на край стола напротив и протянул мне нож рукоятью вперед.

— Теперь про это. — Он кивнул на нож. — Нож, которым не умеешь пользоваться, — это подарок тому, кто умеет. До-станешь его на улице против того, кто сильнее, — он у тебя его отберет и воткнет в тебя же. Понимаешь?

— Понимаю.

— Не понимаешь. — Он сказал это без злости, просто констатировал. — Но поймешь. По вторникам и четвергам, в восемь утра, у Палыча в зале никого нет. Если хочешь — приходи. Научу.

— Почему?

— Что «почему»?

— Почему ты мне помогаешь?

Дмитрий долго молчал. Покрутил в руках бутылку с водой.

— У меня была сестра, — сказал он наконец. — Младшая. Тоже носила нож, чтобы был. — Он поставил бутылку на стол. — Вторник. Восемь. Не опаздывай.

Я не стала спрашивать, что случилось с его сестрой.

Той ночью кулон не остывал до утра.

Я лежала в своей кровати с пакетом льда на скуле, Уголек сопел у меня в ногах, а камень на груди был теплым — ровно,

непрерывно, как в тот день, когда мне делали татуировку. Не вспышками. Просто теплым. Будто кто-то на другом конце тоже не мог уснуть.

Я накрыла его ладонью и не стала гнать эту мысль. Только на одну ночь. Только сегодня.

Дмитрий учил меня ножу так же, как Палыч учил боксу: без лишних слов.

В первый же вторник он принес деревянный нож — гладкую палку с рукоятью — и толстый красный маркер. Маркер дал мне. Палку оставил себе.

— Нападай, — сказал он.

Я напала. Через три секунды у меня на предплечье была красная черта.

— Это артерия, — сказал Дмитрий. — Через минуту ты бы потеряла сознание. Еще раз.

Через две недели красных черт на мне было меньше. Через три — я впервые провела маркером по его запястью. Он посмотрел на черту, кивнул и ничего не сказал. Но на следующей тренировке начал работать быстрее.

Фехтование помогало. Не тем, что руки помнили выпады, — выпады здесь были не нужны. Нож — это не клинок, говорил Дмитрий, это продолжение кулака. Но я понимала дистанцию. Видела, где кончается его рука и начинается угроза — мне хватало одного взгляда, чтобы прочесть линию, по которой пойдет удар. Стейн вбил это в нас на первом курсе:

«Смотрите не на оружие, кадеты. Смотрите на плечо. Плечо всегда скажет раньше».

— Где ты этому научилась? — спросил Дмитрий однажды, когда я в третий раз подряд ушла от его удара, не глядя на нож.

— В академии, — сказала я.

— В какой академии учат так смотреть?

— В очень строгой.

Он усмехнулся — одним углом рта — и больше не спрашивал.

Второй мой бой был через три недели. Я выиграла его быстрее — во втором раунде, — и подвал уже знал мое имя. Когда я шла к рингу, они начали скандировать раньше, чем меня объявили.

После боя я не ушла сразу. Дмитрий сказал, что в главном бою вечера дерется девушка, которую мне стоит увидеть. «Посмотри, как она работает. Поймешь, куда расти».

Я стояла у колонны, в куртке поверх мокрой майки, с пакетом льда на костяшках, когда динамик прохрипел:

— А теперь — главный бой вечера! В красном углу — непобежденная! Восемь побед из восьми! Ры-ы-ыжая!

Подвал заорал так, что задрожали перила галереи.

Она поднялась на ринг, сбросила с плеч черную куртку с капюшоном, подняла руки в бинтах. Коротко стриженные рыжие волосы. Колечко в носу. Сухое, жилистое тело, в ко-

тором не было ни грамма лишнего.

Аня.

Вот же дьявол.

Тихая Аня с графики, в огромном вязаном свитере, с рукавами до кончиков пальцев.

Она разделалась со своей соперницей за полторы минуты. Холодно, точно, без единого лишнего движения. Соперница была выше и тяжелее, но это не имело никакого значения. Аня просто разобрала ее, как часы.

Когда рефери поднял ее руку, она обвела взглядом подвал. Неторопливо, по-хозяйски, будто проверяла, все ли на месте.

И нашла меня у колонны.

Она не удивилась. Ни на секунду. Только улыбнулась — тем же странным уголком рта, что и на выставке, когда спросила: «Бокс или что?»

Через гул толпы, через дым и свет прожекторов я прочитала по ее губам два слова:

«Пташка, значит».

Глава 4

— Суббота, — сказал Дмитрий. — Адрес пришлю в шесть вечера, не раньше. Бинты свои, капа своя. Перчатки дам. Бой три раунда по три минуты. Если сдаешься — стучишь. Если не можешь стучать — я сам остановлю. Вопросы?

— Сколько платят?

— Дебют — двадцать. Победа — сверху еще десять. — Он помолчал. — Если проиграешь, двадцать всё равно твои. За то, что вышла.

— Хорошо.

— И еще. — В трубке что-то шелкнуло, будто он закурил. — Публике нужно имя. Не паспортное. Что-нибудь, что можно кричать.

Я стояла у окна в своей комнате. Над крышами висел июльский вечер, светлый, как разбавленное молоко, — белые ночи только заканчивались. На подоконнике лежал альбом, раскрытый на эскизе крыльев.

— Пташка, — сказала я.

Дмитрий помолчал.

— Тебя за такое имя порвут.

— Пусть попробуют.

Он хмыкнул — коротко, почти одобрительно — и отключился.

Я еще долго стояла у окна. Сказала — и сама удивилась,

как легко. Это имя было его. Он произносил его так, что у меня подкашивались колени. Лениво, насмешливо, нежно, зло — по-разному, но всегда так, будто держит меня в ладони.

Теперь его будут кричать триста незнакомых людей в подвале. И держать меня в ладони будет некому.

Это было правильно. Я так решила.

До субботы оставалось четыре дня, и в один из них случилась выставка.

Тёма прислал сообщение в понедельник: «Летний просмотр курса, четверг, в шесть. Мою работу взяли в экспозицию. Придешь? Если не хочешь — пойму». Я смотрела на это «пойму» минут пять. Потом написала: «Приду».

В Академию художеств я не заходила с прошлого сентября. В четверг я поднялась по той же гранитной лестнице, прошла под той же аркой, и меня накрыло запахом — скипидаром, пылью, старым деревом, — так сильно, что я на секунду остановилась в дверях. Здесь я была другой. Девочкой с чехлом холстов, которая всего боялась и всем улыбалась.

Девочка в зеркале холла была в кожаных штанах, черной майке и тяжелых ботинках. С изумрудной дымкой вокруг глаз и ссадиной на костяшках.

На меня оборачивались. Кто-то из бывших однокурсников узнал, толкнул соседа локтем. Я слышала шепот за спиной: «Это Вейн? Серьезно?», «Она же в академе была», «Что

с ней случилось?». Год назад от такого шепота я бы сгорела со стыда. Сейчас я просто шла дальше.

Тёма стоял у своей работы в дальнем зале. Большой холст — Нева зимой, вид с Дворцового моста, лед и низкое солнце. Хорошая работа. Честная, аккуратная, как он сам.

Он увидел меня и застыл.

— Айрин, — сказал он. Потом еще раз, тише: — Айрин.

— Привет, Тём. — Я встала рядом и посмотрела на холст. — Красиво. Свет на льду особенно.

— Ты... — Он запнулся. Покраснел. Посмотрел на мои глаза, на мои руки, снова на глаза. — Ты так изменилась.

— Знаю.

— Нет, я не в том смысле. То есть в хорошем. Ты... — Он окончательно сбился и замолчал.

— Тём, — сказали у меня за спиной.

Аня подошла с двумя пластиковыми стаканчиками вина. Протянула один Тёме, не глядя на меня. Потом все-таки посмотрела — медленно, сверху вниз, задержав взгляд на ботинках. И на руках. Ссадины на костяшках было трудно не заметить.

— Привет, — сказала она. — Айрин, да? Бокс или что?

— Иногда.

Я думала, она фыркнет. Скажет что-нибудь колкое, как тогда, у перехода. Но Аня вдруг улыбнулась — странно, одним уголком рта, будто знала что-то, чего не знала я.

— Иногда, — повторила она. — Понятно.

Она взяла Тёму под руку и увела к соседнему залу, где кто-то из преподавателей говорил речь. Тёма обернулся. Дважды. Я видела, как Аня сжала его локоть, и как он, не глядя на нее, высвободил руку.

Мне не было от этого ни приятно, ни неприятно. Только немного грустно. За Тёму. За Аню. За то, что я больше не могу смотреть на эти залы, на холсты, на людей со стаканчиками и чувствовать, что это мой мир.

Я ушла, не дождавшись конца речи.

Адрес пришел в субботу ровно в шесть: промзона за Обводным каналом, номер корпуса и одно слово — «Подвал».

Это действительно был подвал. Бывший цех какого-то завода, огромный, с низким бетонным потолком и колоннами, между которыми висел дым. В центре на возвышении стоял ринг — не такой, как у Палыча, а настоящий, с синими канатами и прожекторами по углам. Вокруг — люди. Много людей. Они стояли, сидели на ящиках и бочках, висели на перилах металлической лестницы, ведущей на верхнюю галерею. Мужчины в куртках, девушки на каблуках, парни в спортивных костюмах. Кто-то пил пиво из банки. Кто-то записывал ставки в телефон. Пахло потом, табаком, разлитым пивом и чем-то сладким, электронным, — дымом от вейпов.

У входа меня остановил охранник — огромный, бритый, в черной футболке с надписью «STAFF». Быстро и равнодушно провел руками по моим бокам, по спине, по ногам.

На правом ботинке его руки остановились.

Он вытащил нож из голенища. Посмотрел на него. Потом на меня.

— Это что?

— Нож.

— Вижу, что нож. Зачем?

Я не успела ответить. Из-за его спины вышел Дмитрий — в той же черной футболке, с телефоном в руке. Посмотрел на нож. Взял его у охранника, повертел.

— Мой боец, — сказал он охраннику. — Я разберусь.

Охранник пожал плечами и вернулся к двери. Дмитрий взвесил нож на ладони, провел пальцем вдоль клинка, не касаясь острия.

— Пользоваться умеешь?

— Нет.

— Тогда зачем носишь?

Я хотела сказать: «Потому что без него я как будто голая». Или: «Потому что у меня был стилет с соколом на рукояти, и его больше нет». Но сказала:

— Чтобы был.

Дмитрий долго смотрел на меня. Потом сунул нож себе в задний карман.

— После боя отдам, — сказал он. — И после боя поговорим. А сейчас иди переодевайся. Ты вторая.

Мою соперницу звали Кира. На афише, которую объявля-

ли через хриплый динамик, ее называли «Кира Молот», и публика встретила ее ревом — ее здесь знали. Высокая, широкоплечая, с короткой стрижкой и татуировкой змеи на шее. Она была старше меня лет на пять и тяжелее килограммов на десять.

— И в синем углу — дебют! — крикнул динамик. — Пташка!

Кто-то засмеялся. Кто-то свистнул. «Пташка! Ну всё, щас ошпилют!» — проорали с галереи, и смех стал громче.

Я поднялась на ринг. Свет прожекторов бил в глаза так, что толпа исчезла, превратилась в темноту, в шум, в запах. Остались только ринг и Кира.

Гонг.

Кира пошла вперед, как Вика тогда — тараном. Я ушла. Еще раз. Еще. Публика засвистела: им не нравилось, когда бегают. Кира усмехнулась, загнала меня в угол и ударила в корпус — тяжело, с проворотом, так, что из меня вышибло воздух.

Кулон вспыхнул.

Горячо, резко, прямо под сердцем. Как будто кто-то вскрикнул.

Я на долю секунды отвлеклась — и Кира попала мне в голову. Ринг качнулся. В ушах зазвенело. Я отступила, закрылась, получила еще раз, по рукам, по ребрам. Кулон горел. Каждый удар — вспышка. Каждый удар — как будто кто-то вздрагивает там, на другом конце, и я это чувствую, и это

отвлекает больше, чем сама боль.

Гонг. Конец первого раунда.

Я села в угол на табурет. Дмитрий, который был у меня в углу вместо тренера, сунул мне в рот бутылку с водой, вытер лицо полотенцем.

— Ты куда смотришь? — спросил он сквозь шум. — Ты не на нее смотришь. Ты куда-то внутрь смотришь. Что с тобой?

Я не ответила. Прижала перчатку к груди, туда, где под майкой лежал кулон. Он был горячим.

«Отстань», — подумала я. Зло, отчетливо. Не знаю кому. Камню. Ему. Себе. — «Отстань от меня. Это мой бой. Мой».

И внутри стало тихо.

Не потому что кулон остыл — он не остыл. А потому что я вдруг поставила стену. Ту самую, которую строила каждую ночь с апреля. Камень к камню, ряд за рядом: гранит набережной, штукатурка Академии, кирпичи двора-колодца. Только на этот раз я поставила ее не между собой и Деймоном. Между собой и всем, что было не этим рингом.

Гонг.

Кира пошла вперед. Я ушла — и ударила. Ушла — ударила. Джеб, джеб, в сторону. Как говорил Палыч: уходишь — бьешь. Кира попала мне по плечу, я ответила в корпус. Она пошла в клинч, обхватила меня за шею, потянула вниз, чтобы ударить коленом, — и я вспомнила. «Когда противник сильнее — не убегай. Входи внутрь».

Я вошла внутрь. Нырнула под ее руку и ударила локтем

— коротко, снизу, в челюсть.

Кира отшатнулась. Не упала, но отшатнулась, и в ее глазах впервые мелькнуло что-то, кроме скуки.

Публика заревела. Кто-то на галерее, тот, что кричал про «ощиплют», заорал: «Давай, Пташка! Давай!»

В третьем раунде Кира устала. Она была сильнее, но тяжелее, и я гоняла ее по рингу, как Стейн гонял нас по плацу. На второй минуте она промахнулась, провалилась вперед — и я ударила ей ногой в корпус, той самой круговой, которую Палыч заставлял меня отрабатывать по триста раз за тренировку.

Кира опустилась на колено. Рефери — щуплый мужчина в полосатой футболке — начал считать. Она встала на восьми. Посмотрела на меня. Потом на Дмитрия. И подняла руку.

Сдалась.

Секунду я стояла, не понимая. Потом рефери схватил меня за запястье и поднял мою руку вверх, и подвал взорвался.

— ПТАШ-КА! ПТАШ-КА! ПТАШ-КА!

Они кричали его. Триста человек в дыму, под бетонным потолком. Мое имя. Его имя для меня — теперь мое.

Я стояла в свете прожекторов с поднятой рукой, мокрая, избитая, с разбитой губой, и улыбалась. Впервые за четыре месяца — улыбалась по-настоящему.

Дмитрий отдал мне конверт и нож в каморке за рингом, где пахло мазью и хлоркой.

— Тридцать, — сказал он. — Пересчитай.

Я не стала пересчитывать. Сунула конверт в рюкзак. Дмитрий присел на край стола напротив и протянул мне нож рукоятью вперед.

— Теперь про это. — Он кивнул на нож. — Нож, которым не умеешь пользоваться, — это подарок тому, кто умеет. До-станешь его на улице против того, кто сильнее, — он у тебя его отберет и воткнет в тебя же. Понимаешь?

— Понимаю.

— Не понимаешь. — Он сказал это без злости, просто констатировал. — Но поймешь. По вторникам и четвергам, в восемь утра, у Палыча в зале никого нет. Если хочешь — приходи. Научу.

— Почему?

— Что «почему»?

— Почему ты мне помогаешь?

Дмитрий долго молчал. Покрутил в руках бутылку с водой.

— У меня была сестра, — сказал он наконец. — Младшая. Тоже носила нож, чтобы был. — Он поставил бутылку на стол. — Вторник. Восемь. Не опаздывай.

Я не стала спрашивать, что случилось с его сестрой.

Той ночью кулон не остывал до утра.

Я лежала в своей кровати с пакетом льда на скуле, Уголек сопел у меня в ногах, а камень на груди был теплым — ровно,

непрерывно, как в тот день, когда мне делали татуировку. Не вспышками. Просто теплым. Будто кто-то на другом конце тоже не мог уснуть.

Я накрыла его ладонью и не стала гнать эту мысль. Только на одну ночь. Только сегодня.

Дмитрий учил меня ножу так же, как Палыч учил боксу: без лишних слов.

В первый же вторник он принес деревянный нож — гладкую палку с рукоятью — и толстый красный маркер. Маркер дал мне. Палку оставил себе.

— Нападай, — сказал он.

Я напала. Через три секунды у меня на предплечье была красная черта.

— Это артерия, — сказал Дмитрий. — Через минуту ты бы потеряла сознание. Еще раз.

Через две недели красных черт на мне было меньше. Через три — я впервые провела маркером по его запястью. Он посмотрел на черту, кивнул и ничего не сказал. Но на следующей тренировке начал работать быстрее.

Фехтование помогало. Не тем, что руки помнили выпады, — выпады здесь были не нужны. Нож — это не клинок, говорил Дмитрий, это продолжение кулака. Но я понимала дистанцию. Видела, где кончается его рука и начинается угроза — мне хватало одного взгляда, чтобы прочесть линию, по которой пойдет удар. Стейн вбил это в нас на первом курсе:

«Смотрите не на оружие, кадеты. Смотрите на плечо. Плечо всегда скажет раньше».

— Где ты этому научилась? — спросил Дмитрий однажды, когда я в третий раз подряд ушла от его удара, не глядя на нож.

— В академии, — сказала я.

— В какой академии учат так смотреть?

— В очень строгой.

Он усмехнулся — одним углом рта — и больше не спрашивал.

Второй мой бой был через три недели. Я выиграла его быстрее — во втором раунде, — и подвал уже знал мое имя. Когда я шла к рингу, они начали скандировать раньше, чем меня объявили.

После боя я не ушла сразу. Дмитрий сказал, что в главном бою вечера дерется девушка, которую мне стоит увидеть. «Посмотри, как она работает. Поймешь, куда расти».

Я стояла у колонны, в куртке поверх мокрой майки, с пакетом льда на костяшках, когда динамик прохрипел:

— А теперь — главный бой вечера! В красном углу — непобежденная! Восемь побед из восьми! Ры-ы-ыжая!

Подвал заорал так, что задрожали перила галереи.

Она поднялась на ринг, сбросила с плеч черную куртку с капюшоном, подняла руки в бинтах. Коротко стриженные рыжие волосы. Колечко в носу. Сухое, жилистое тело, в ко-

тором не было ни грамма лишнего.

Аня.

Вот же дьявол.

Тихая Аня с графики, в огромном вязаном свитере, с рукавами до кончиков пальцев.

Она разделалась со своей соперницей за полторы минуты. Холодно, точно, без единого лишнего движения. Соперница была выше и тяжелее, но это не имело никакого значения. Аня просто разобрала ее, как часы.

Когда рефери поднял ее руку, она обвела взглядом подвал. Неторопливо, по-хозяйски, будто проверяла, все ли на месте.

И нашла меня у колонны.

Она не удивилась. Ни на секунду. Только улыбнулась — тем же странным уголком рта, что и на выставке, когда спросила: «Бокс или что?»

Через гул толпы, через дым и свет прожекторов я прочитала по ее губам два слова:

«Пташка, значит».

Глава 6

В последнюю неделю августа мне начало казаться, что за мной следят.

Не так, как в сентябре прошлого года, когда чужой взгляд прожигал затылок, а я списывала всё на туман и недосып. Тогда я не знала, что такое взгляд мага. Теперь знала. И этот был другим — легким, осторожным, будто кто-то смотрел и всё время отводил глаза, чтобы его не заметили.

В понедельник я почувствовала его на набережной, когда возвращалась от Палыча. Обернулась — никого. Только парочка на скамейке и рыбак с удочкой у спуска к воде.

Во вторник — у охотничьего магазина на Невском, куда я зашла за новым точильным камнем. В витрине напротив отражалась улица, и мне показалось, что в отражении, у арки, мелькнули двое в темных куртках с капюшонами. Я развернулась. Арка была пустой.

В среду я проверила. Вышла из дома не в семь, как обычно, а в половине шестого. Пошла не по Среднему, а дворами, через проходные, которые знала с детства. Остановилась в подъезде старого дома на Седьмой линии и простояла там десять минут, глядя в щель приоткрытой двери.

Никто не прошел.

Но когда я вышла, на мокром асфальте у самого подъезда лежала монета. Одна. Большая, тяжелая, с неровным краем.

Я подняла ее и перевернула.

На ней был отчеканен грифон.

Я стояла посреди двора с этой монетой на ладони, и сердце колотилось так, будто я пробежала три раунда без перерыва. Этерийская монета. Серебряная марка — я видела такие в Нижнем городе, когда мы с Лив ходили за пряностями для Елены. Здесь ей неоткуда было взяться.

Кто-то ее уронил. Или кто-то ее оставил.

Я сжала монету в кулаке и долго смотрела на крыши. Потом сунула ее в карман и пошла на тренировку, не оглядываясь. Если это Отрекшиеся — они не стали бы оставлять мне знаков. А если это не Отрекшиеся...

Я запретила себе додумывать. Додумывать было больно.

В четверг, тридцатого августа, я задержалась у Палыча допоздна.

Сначала отрабатывала с Рустамом защиту от ударов ногами, потом колотила мешок, пока не перестала чувствовать плечи. Палыч ушел в одиннадцать, бросив мне ключи: «Закроешь. Свет выключи». Я закрыла. Выключила. Поднялась по крутой лестнице на улицу.

Кожевенная линия ночью была пустой и темной. Справа — глухая стена бывшего завода, слева — заборы складов, за ними — черная вода Смоленки. Фонари горели через один. Где-то далеко, на Среднем, проехала машина, и снова стало тихо. Пахло рекой, мокрым железом и чем-то кислым из му-

сорных баков.

Я прошла метров двести, когда услышала крик.

Короткий, мужской, оборвавшийся на середине. Где-то впереди, за поворотом, у проезда между складами.

Я побежала.

Тело сделало это раньше, чем я успела подумать. Ноги сами понесли вперед, рука сама нырнула в голенище ботинка и вытащила нож. За поворотом был узкий проезд, освещенный одним фонарем на столбе, — и в его желтом круге, на асфальте, лежал человек.

Курьер. Зеленая куртка, огромный короб на спине, велосипед валяется рядом, переднее колесо еще крутится. Он лежал на боку, закрывая голову руками, а короб на его спине был разодран в клочья — три длинные рваные полосы, как от гигантских когтей.

И над ним стояли они.

Две. В темноте за кругом фонаря — просто силуэты. Собаки. Крупные, поджарые, с опущенными головами. Любой прохожий увидел бы собак.

Я видела, как они стоят. Неподвижно, совершенно неподвижно, как не умеет стоять ни одно живое существо. И как одна из них медленно, без единого звука, наклоняет к курьеру вытянутую голову, и свет фонаря скользит по ее морде — по голой серой кости, по провалу глазницы, в глубине которого тлеет багровый уголек.

Гримварг.

— Эй! — крикнула я. Громко, хрипло, во всю силу легких. — Эй!

Обе головы повернулись ко мне. Одновременно. Плавно, как на шарнирах.

И я поняла — сразу, всем телом, как понимают, что сейчас ударят, — что они смотрят не на мой крик. Не на мой нож. Они смотрели на меня. На то, что у меня внутри.

На мою магию.

Курьер воспользовался этим. Вскочил, оставив велосипед, и побежал — прочь, к Среднему проспекту, спотыкаясь, не оглядываясь. Твари не обратили на него никакого внимания. Будто его и не было.

Они шли ко мне.

Не бежали. Шли — ровно, бок о бок, опустив головы. В темноте, вне круга фонаря, их снова было трудно разглядеть. Просто два сгустка темноты на темном асфальте, которые двигались беззвучно.

Я отступила на шаг. Перехватила нож обратным хватом, как учил Дмитрий. Левую руку подняла к лицу.

«Смотрите на плечо, кадеты».

У гримварга не было плеча. У него были кости, сухожилия и голод.

Первый прыгнул.

Я ушла влево — шаг, скрут, шаг, — и он пролетел мимо, щелкнув челюстями у моего уха. Я ударила ножом ему в бок,

туда, где у собаки было бы сердце. Клинок проскрежетал по кости, как по камню, и отскочил. Даже не поцарапал.

Обычная сталь. Конечно. Стиллет отца, с серебряной вязью на ножнах, брал тeneвых тварей. Но стиллет остался в Валорисе. А это был просто нож из охотничьего магазина на Невском.

Второй прыгнул, пока я разворачивалась. Я успела закрыться рукой — и почувствовала, как когти рвут рукав куртки, рвут кожу под ним. Боль была горячей и мокрой. Я отшвырнула тварь ударом ноги, той самой круговой, которую отрабатывала по триста раз. Она отлетела к забору, ударилась о сетку, — и тут же поднялась. Беззвучно. Будто ничего не было.

Кулон на груди вспыхнул так, что я задохнулась.

Не теплом — жаром. Почти ожогом. Таким сильным, что на секунду я забыла про тварей, про нож, про кровь на руке. Где-то очень далеко, на той стороне, кто-то кричал — я не слышала крика, но чувствовала его, через камень, через кожу, прямо в сердце.

— Не сейчас! — прошипела я, сама не зная кому. И поставила стену.

Гранит. Штукатурка. Кирпич.

Жар остался за стеной. Остались только проезд, фонарь и две пары багровых углей в темноте.

Сталь их не брала. Значит, нужно было другое.

Я разжала левую ладонь и позвала свет.

В мире людей он был слабым, как свеча за стеклом. Я знала это. Я проверяла его каждую ночь в ванной, и он едва теплился. Но сейчас мне было не до проверок. Сейчас у меня была кровь на руке, две твари передо мной и злость — та самая, которая пришла ко мне весной вместе с ледоходом и никуда не уходила.

Я не просила свет. Я его потребовала.

И он пришел.

Не вспышкой, как в Валорисе, — узкой серебряной полосой, которая выросла из ладони, как лезвие. Неровная, дрожащая, она шипела в сыром воздухе. Твари отпрянули. Обе. Впервые за всё это время они издали звук — тихий, сухой, как треск ломающихся веток. На кончиках пальцев покалывало.

Но голым светом их было не убить. Он уже таял. Я чувствовала, как он вытекает из ладони, как вода сквозь пальцы. Минута, может, меньше.

«Слейся со стилетом».

Оружейная, первая неделя, его голос у меня в голове. Не бросай свет. Веди его в клинок. Тогда у меня не получилось ни разу.

Я сжала нож так, что заболели пальцы, и повела свет наружу — внутрь. Из ладони в рукоять. Из рукояти в сталь. Узко. Как воду в узкое горло кувшина.

Серебро стекло по клинку. Обычная сталь засветилась из-

нутри, как лед под солнцем. А в ладони стало легче: свету больше не нужно было гореть в воздухе. Ему было куда идти.

Первая тварь прыгнула снова. Я ушла и ударила. Нож вошел ей между ребер, в кость, — и на этот раз не отскочил. Прошел насквозь, как сквозь сухую глину.

Гримварг замер. Беззвучно. А потом осыпался.

Просто осыпался — на асфальт, серым пеплом, легким, как бумажный. Ветер с реки подхватил его и понес вдоль забора.

Вторая тварь отступила в темноту. Не убежала. Отступила — медленно, не сводя с меня глаз, к забору, туда, где кончался свет фонаря.

Я слишком поздно поняла, зачем.

Из-за складов, из темноты за забором, с крыши гаража бесшумно выходили новые. Три. Пять. Семь. Я перестала считать на девяти. Они не бросались. Они расходились — вправо, влево, отрезая мне проезд с обеих сторон. Двое пошли низом вдоль забора, мне за спину.

Они шли на мой свет. Как волки на запах крови. *Вот дерьмо.*

Крайний справа прыгнул. Я ушла и ударила — и нож вошел ему в плечо, но свет на клинке уже был тусклым, и тварь не осыпалась. Упала. Встала. Пошла снова, волоча лапу.

Свет в моей ладони задрожал. Нож в руке стал тяжелым. Я отступила к стене завода, к холодному кирпичу, и почувствовала, как силы утекают из меня, как вода в песок. В мире

людей магия была тонкой, и я по неумению вычерпала почти всё, что было.

Девять пар багровых углей. Может, больше.

Я подняла нож.

— Ну, — сказала я. Голос сел. — Давайте.

Первый кинжал прилетел сверху.

Я увидела только блеск — короткий, серебряный, — и тварь, которая уже приседала для прыжка, дернулась и осыпалась пеплом с клинком в глазнице. Второй кинжал прилетел сразу за первым и вошел в горло соседней. Третий — в третью.

А потом над проездом вспыхнул свет.

Белый, ослепительный, как магниевая вспышка, — он ударил сверху, с крыши склада, прямо в морды тварям. Они взвыли — теперь уже вслух, сухим трескучим воем, — и отпрянули, ослепленные, натываясь друг на друга.

Я знала этот свет. Я видела его на плато у Черной Скалы, когда падающий пикировал на нас из метели, а рыжая девочка из Аквилонских Нагорий вскинула ладони и...

С крыши склада прыгнули двое. Приземлились мягко, по-кошачьи, по обе стороны от меня.

Слева — высокий парень в потертой кожаной куртке разведчика, с темной челкой, падающей на глаза. В каждой руке — по кинжалу. Он крутанул один в пальцах, поймал за лезвие и посмотрел на меня через плечо. Ореховые глаза с

золотыми искрами смеялись.

— Ну здравствуй, Вейн, — сказал Кай. — Классные штаны.

Справа — девушка в такой же куртке, с медными кудрями, выбившимися из-под капюшона. Смуглые ладони подняты, между пальцами еще потрескивает белый свет. Карие глаза блестели от слез, но голос был злым:

— Кай, ты идиот! Я же говорила, надо было подойти раньше! Еще во вторник!

— Во вторник она чуть не зарезала меня взглядом в витрине, — возразил Кай. — Я, между прочим, жить хочу.

— Лив, — сказала я. Голос не слушался. — Кай...

— Потом, — сказала Лив и шагнула вперед, вскидывая руки. — Обниматься потом. Сначала — эти.

Мы сражались втроем.

Так, как дрались у Черной Скалы и на стенах Валориса в ночь Кровавой Луны. Только тогда я была девочкой, которую закрывали собой. Теперь я стояла в линии.

— Держи! — Кай бросил мне один из своих кинжалов. Рукоятью вперед. — Серебро. Свет в него идет сам, не надо выжимать.

Я поймала. И почувствовала разницу сразу. Нож из охотничьего магазина пил свет, как сухая земля, — по капле, через силу. Серебро взяло его само, будто ждало. Мне хватило искры. Клинок вспыхнул от рукояти до острия.

— Лив — глаза, я — по ним, Вейн — что прорвется! — крикнул Кай.

Лив была светом — короткими вспышками, по одной на тварь, прямо в глазницы. Ослепленный grimварг сбивался с шага, и в эту секунду в него входил кинжал Кая. Вспышка — бросок. Вспышка — бросок. Кай ловил вернувшиеся клинки, не глядя.

А я держала середину. Двое прорвались между Лив и забором. Я ушла от первого, и он пролетел мимо, и я ударила его в спину, под череп. Второй вцепился зубами мне в ботинок и дернул, и я упала на колено — и ударила сверху, в затылок, как в землю. Пепел. «Уходишь — бьешь», — говорил Палыч.

Одна прыгнула на Лив сбоку, когда та слепила двоих впереди. Я увидела это раньше, чем Лив, — по тому, как тварь присела, по наклону костистой головы. Плечо всегда скажет раньше. Даже если плеча нет.

Я оказалась между ними за полсекунды. Нырнула под прыжок — «входи внутрь, там, где он тебя не ждет», — и ударила снизу, в горло.

Пепел осыпал меня с головы до ног.

Лив обернулась. Посмотрела на меня. На пепел в моих волосах, на нож, на руку в крови.

— Айрин... — сказала она странным голосом.

— Сзади, — сказала я.

Она развернулась и ослепила тварь, которая подбиралась

к ней со спины. Кай добил ее кинжалом.

Последнего grimварга я убила сама. Он был больше остальных — вожак, наверное, — и он не пошел на свет, а затаился у забора, выжидая. Когда все его собратья осыпались пеплом, он метнулся не на нас — прочь, к реке, к черной воде Смоленки.

Он уходил. Туда, откуда пришел. К той другой двери, о которой я думала ночами над своей тетрадью.

Я побежала за ним.

— Айрин, стой! — крикнул Кай.

Я не остановилась. На бегу сунула кинжал Кая за пояс — он и так рвался из пальцев назад, к хозяину, — и взяла в руку свой нож. Тварь была быстрее, но я знала эти дворы. Я выросла здесь. Я срезала через пролом в заборе, который знала с девяти лет, и вылетела на берег Смоленки на секунду раньше grimварга.

Он затормозил. Развернулся ко мне. Оскалил голые костяные челюсти.

Я не стала ждать, пока он прыгнет. Я ударила первой.

Свет на клинке вспыхнул в последний раз — и погас. Grimварг осыпался пеплом мне под ноги, и ветер понес серые хлопья над черной водой.

Я стояла на берегу, тяжело дыша. Нож в руке снова был просто ножом — тусклым, обычным, в пепле и в моей крови. Сил не осталось. Совсем. Колени дрожали.

Сзади слышались шаги. Кай остановился в двух шагах

от меня. Лив — рядом с ним.

Что-то дернуло меня за ремень. Я опустила глаза. Кинжал Кая, который я сунула за пояс посреди боя, рвался наружу — сам, как живой, острием к хозяину.

— Отпусти его, — сказал Кай. — Он домой хочет.

Я вытащила кинжал. Он сорвался с моей ладони, перелетел два шага и лег Каю в руку рукоятью вперед. Кай подбросил его и поймал.

— Серебро, — пояснил он. — Ревнивое.

Долго никто ничего не говорил.

— Ты видел? — наконец спросила Лив у Кая тихо, будто меня здесь не было. — Ты видел, как она...

— Видел, — сказал Кай.

Он смотрел на меня. Не так, как смотрел в Валорисе, — насмешливо, по-братски, как на младшую, которую надо опекать. По-другому. Так, как смотрел на Деймона перед боем. Оценивающе. С уважением.

— Вейн, — сказал он. — Где тебя этому научили?

— Это долгая история.

Кай моргнул. Лив открыла рот и закрыла.

Я наконец посмотрела на них. По-настоящему. Кай похудел, под глазами залегли тени. У Лив на скуле был свежий порез. Оба — в куртках разведчиков Стражи, в пыли и пепле. Оба — здесь. В Петербурге. На берегу Смоленки, в трех километрах от бабушкиного дома.

— Как вы прошли? — спросила я. — Излом же запечатан.

Я сорок ночей стояла у сфинксов. Он не открылся ни разу.
Кай и Лив переглянулись.

— Для нас — нет, — сказал Кай осторожно. — Не запечатан. Магнус открыл его неделю назад. Для нас двоих.

Я смотрела на него. Внутри было пусто и тихо — тише, чем после боя.

Для них — открыл. Для меня — нет. Стало еще больнее.

Лив шагнула ко мне. Протянула руки, но остановилась, будто боялась, что я отшатнусь.

— Айрин, — сказала она. — Пожалуйста. Нам нужно поговорить. Обо всем. Только не здесь.

Я посмотрела на ее руки. На ее мокрые от слез карие глаза. На серебряную марку с грифоном, которую я вытащила из кармана и показала им на ладони.

— Это ваше? — спросила я.

Кай поморщился.

— Мое. Выпала из кармана в среду, когда я прыгал с крыши. Я весь день ее искал.

Я протянула ему монету. Он взял.

А потом Лив все-таки обняла меня — крепко, отчаянно, прямо так, в пепле и крови, — и я обняла ее в от

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.